

**Н. А. БЕРДЯЕВ****<Бунт Белинского>****1**

Гегель сделал небывалую карьеру в России\*. Огромное значение философии Гегеля сохранилось и до русского коммунизма. Советы издают полное собрание сочинений Гегеля, и это несмотря на то, что для него философия была учением о Боге. Гегель был для русских вершиной человеческой мысли, и у него искали разрешения всех мировых вопросов. Он влиял на русскую философскую, религиозную и социальную мысль. Он имел такое же значение, какое имел Платон для патристики и Аристотель для схоластики. Ю. Самарин одно время ставил будущее православной церкви в зависимость от судьбы философии Гегеля, и только Хомяков убедил его в недопустимости такого рода сопоставления. Гегель совсем не был у нас предметом философского исследования, но в увлечение его философией русские вложили всю свою способность к страстным идейным увлечениям. В Шеллинге увлекали философия природы и философия искусства. Но в Гегеле речь шла о решении вопроса о смысле жизни. Станкевич восклицает: «Не хочу жить на свете, если не найду счастья в Гегеле!» Бакунин принимает Гегеля, как религию.

Русских интеллигентов-идеалистов, лишенных возможности активной деятельности, мучит вопрос об отношении к «действительности». Этот вопрос о «действительности» приобретает непомерное значение, вероятно, мало понятное западным людям. Русская «действительность», окружавшая идеалистов 30-х и 40-х годов, была ужасна, это была империя Николая I, крепостное право, отсутствие свободы, невежество. Умеренно-консервативный Никитенко писал в своем «Дневнике»: «Печальное зрелище представляет наше современное общество. В нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах, словом, ничего свидетельствующего о здравом, естественном и энергичном развитии нравственных сил... Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или признаком романтической восторженности... Образованность

---

\* См.: Чижевский. «Hegel in Russland».

наша — одно лицемерие... Зачем заботиться о приобретении познаний, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется как преступление?» «Везде насилия и насилия, стеснения и ограничения, — нигде простора бедному русскому духу. Когда же этому конец?» «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?» В последней записи «Дневника» написано: «Страшная эпоха для России, в которой мы живем и не видим никакого выхода». Это написано в эпоху «идеалистов» 40-х годов, эпоху блестящую по своим дарованиям. Но замечательные люди 40-х годов составляли небольшую группу, окруженную тьмой. Это привело в конце концов к «лишним людям», к бесприютному скитальцу Рудину и к Обломову. Более сильным людям нужно было идейно примириться с «действительностью», найдя для нее смысл и оправдание, или бороться с ней. Белинский, центральная тут фигура, не мог по своей боевой натуре просто уйти от «действительности» в философское и эстетическое созерцание. Вопрос становился для него необыкновенно мучительным. Бакунин ввел Белинского в философию Гегеля. Из Гегеля было выведено примирение с действительностью. Гегель сказал: «Все действительное разумно». Эта мысль имела у Гегеля обратную сторону, он признавал лишь разумное действительным. Понять по Гегелю разумность действительности можно лишь в связи с его панлогизмом. Для него не всякая эмпирическая действительность была действительностью. Русские того времени недостаточно понимали Гегеля, и это порождало недоразумение. Но не все тут было непониманием и недоразумением. Гегель все-таки решительно утверждал господство общего над частным, универсального над индивидуальным, общества над личностью. Философия Гегеля была антиперсоналистической. Гегель породил правое и левое гегелианство, на его философию одинаково опирается консерватизм и революционный марксизм. Этой философии был свойствен необыкновенный динамизм. Белинский переживает бурный кризис, по Гегелю примиряется с «действительностью», порывает с друзьями, с Герценом и с другими, и уезжает в Петербург. Революционер по натуре, склонный к протесту и бунту, на недолгое время делается консерватором, пишет, взволнованную и возмущившую всех, статью о годовщине Бородинского сражения, требует примирения с «действительностью». Он принимает гегелевскую философию тоталитарно. Он восклицает; «Слово “действительность” имеет для меня то же значение, что

«Бог”!» «Общество, — говорит Белинский, — всегда правее и выше частного лица». Это было сказано в его несправедливой статье о «Горе от ума». Из этого могут быть сделаны и консервативные, и революционные выводы. Белинский делает консервативный вывод и пишет апологию власти. Он вдруг проникается мыслью, что право есть сила и сила есть право, он оправдывает завоевателей. Он проповедует смирение разума перед историческими силами, признает особую нравственность для завоевателей, для великих художников и пр. Действительность прекрасна, страдание — форма блаженства. Было время, когда поэзия представлялась квинтэссенцией жизни. Белинский решительный идеалист, для него выше всего идея, выше живого человека. Личность должна смириться перед истиной, перед действительностью, перед универсальной идеей, действующей в мировой истории. Тема была поставлена остро и пережита со страстью. Белинский не мог долго на этом удержаться, и он разрывает с «действительностью» в Петербурге, возвращается к друзьям. После этого разрыва начинается бунт, решительный бунт против истории, против мирового процесса, против универсального духа во имя живого человека, во имя личности. У нас было два кризиса гегелианства, кризис религиозный, в лице Хомякова, и кризис морально-политический и социальный, в лице Белинского.

## 2

Тема о столкновении личности и истории, личности и мировой гармонии есть очень русская тема, она с особенной остротой и глубиной пережита русской мыслью. И первое место тут принадлежит бунту Белинского. Это нашло себе выражение в замечательном письме к Боткину\*. Белинский говорит про себя, что он страшный человек, когда ему в голову заберется мистический абсурд. Многие русские люди могли бы сказать это про себя. После пережитого кризиса Белинский выражает свои новые мысли в форме восстания против Гегеля, восстания во имя личности, во имя живого человека. Он переходит от пантеизма к антропологизму, что аналогично более спокойному философскому процессу, происшедшему в Фейербахе. Власть универсальной идеи, универсального духа — вот главный враг. «К черту все высшие стремления и цели, — пишет Белинский. — Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую,

---

\* См. книгу П. Сакулина «Социализм Белинского», в которой напечатано письмо к Боткину.

что был верен ему, мирясь с российской действительностью... *Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира*... Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самосулаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень развития, а спотыкнешься, — падай, черт с тобой... Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уваженьем, честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови... Это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру». «Для меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же». «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судьбы всего мира и здоровья китайского императора (т. е. гегелевской *Allgemeinheit*)». Выраженные Белинским мысли поражают сходством с мыслями Ивана Карамазова, с его диалектикой о слезинке ребенка и мировой гармонии. Это совершенно та же проблема о конфликте частного, личного с общим, универсальным, то же возвращение билета Богу. «Субъект для него (Гегеля) не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом». Огромное, основоположное значение для дальнейшей истории русского сознания имеет то, что у Белинского бунт личности против мировой истории и мировой гармонии приводит его к культуре социальности. Действительность не разумна и должна быть радикально изменена во имя человека. Русский социализм первоначально имел индивидуалистическое происхождение. «Во мне развивалась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести... Я понял французскую революцию, понял и кровавую ненависть ко всему, что хотело отделиться от братства с человечеством... Я теперь в новой крайности — это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Все из нее, для нее и к ней... Я все более и более гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее... Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума». «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я,

кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Он восклицает: «Социальность, социальность или смерть!» Белинский является предшественником русского коммунизма, гораздо более Герцена и всех народников. Он уже утверждал большевистскую мораль.

Тема о столкновении личности и мировой гармонии достигает гениальной остроты у Достоевского. Его мучила проблема теодицеи. Как примирить Бога и миротворение, основанное на зле и страдании? Можно ли согласиться на сотворение мира, если в мире этом будет невинное страдание, невинное страдание хотя бы одного ребенка? Ив. Карамазов в разговоре с Алешей раскрывает гениальную диалектику о слезинке ребенка. И это очень напоминает тему, поставленную Белинским. Тема впервые с большой остротой выражена в «Записках из подполья». Тут чувство личности, не согласной быть штифтиком мирового механизма, частью целого, средством для целей установления мировой гармонии, доведено до безумия. Тут Достоевский высказывает гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное существо, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, имеющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина возникновения сознания. Подпольный человек не согласен на мировую гармонию, на хрустальный дворец, для которого сам он был бы лишь средством. «Свое собственное, вольное и свободное хотение, — говорит подпольный человек, — свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы до сумасшествия, — вот это-то и есть та самая, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и которой все системы и теории постепенно разлетаются к черту». Подобный человек не принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Это с наибольшей силой будет развито в «Легенде о Великом Инквизиторе»\*. Подпольный человек восклицает: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в бок и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и нам опять по своей глупой воле пожить!» У самого Достоевского была двойственность. С одной стороны, он не мог примириться с миром, основанным на страдании и страда-

---

\* См. мою книгу «Мирозерцание Достоевского».

нии невинном. С другой стороны, он не принимает мира, который хотел бы создать «эвклидов ум», т. е. мир без страданий, но и без борьбы. Свобода порождает страдания. Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы, он более всего возражает против принудительного счастья. Диалектика Ив. Карамазова о слезинке ребенка выражает мысли самого Достоевского. И вместе с тем для него эта диалектика атеистическая, богоборческая, которую он преодолевает своей верой в Христа. Ив. Карамазов говорит: «В окончательном результате я мира Божьего не принимаю, и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе». Мир может прийти к высшей гармонии, к всеобщему примирению, но это не искупит невинных страданий прошлого. «Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавожить какую-то будущую гармонию». «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка». Ив. Карамазов возвращает Богу свой билет на вход в мировую гармонию. Проблема страдания стоит в центре творчества Достоевского. И в этом он очень русский. Русский человек способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный. Русский атеизм возник по моральным мотивам, вызван невозможностью разрешить проблему теодицеи. Русским свойствен своеобразный маркионизм. Творец этого мира не может быть добрым, потому что мир полон страданий, страданий невинных. Для Достоевского вопрос этот решается свободой как основой мира и Христом, т. е. принятием на себя страданий мира самим Богом. У Белинского, очень посюстороннего по натуре, эта тема привела к индивидуалистическому социализму. Вот как выражает Белинский свою социальную утопию, свою новую веру: «И настанет время,— я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе конца, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть: когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувства, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: “Я люблю другого”, любовник ответит: “Я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай к тому, кого ты любишь”, и не примет ее жертвы, если по великодушью она захочет остаться с ним, но, подобно Богу, скажет ей: хочу милости, а не жертв... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей

и подданных, но будут братья, будут люди и, по глаголу Ап. Павла, Христос даст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже на новом небе и над новою землей» \*. Индивидуалистический социализм был и у Герцена, который более всего дорожил личностью, а в 70-е годы у Н. Михайловского и П. Лаврова. Русская мысль подвергла сомнению оправданность мировой истории и цивилизации. Русские прогрессисты-революционеры сомневались в оправданности прогресса, сомневались в том, что грядущие результаты прогресса могут искупить страдания и несправедливости прошлого. Но один Достоевский понимал, что эта тема разрешена лишь в христианстве. Белинский не замечал, что после бунта против власти общего универсального у Гегеля он вновь подчиняет человеческую личность общему универсальному — социальности, господину не менее жестокому. Русским одинаково свойственны персонализм и коммунистичность. В Достоевском соединяется и то и другое. Самое возмущение Достоевского против революционеров, часто очень несправедливое, происходило во имя личности и свободы. Он вспоминает: «Белинский верил всем существом своим, что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии». Сам Достоевский не верил в это. Гениальность его темы, порождающей все противоречия, была в том, что человек берется как бы выпавшим из миропорядка. Это и было открытием подпольности, на языке научном — сферы подсознательного.

### 3

В 40-е годы уже начинали писать великие русские писатели, которые принадлежат последующей эпохе. О Достоевском и Л. Толстом речь будет позже. Но творчество Гоголя принадлежит эпохе Белинского и людей 40-х годов. Гоголь принадлежит не только истории литературы, но и истории русских религиозных и религиозно-социальных исканий. Религиозная тема мучила великую русскую литературу. Тема о смысле жизни, о спасении человека, народа и всего человечества от зла и страдания преобладала над темой о творчестве культуры. Русские писатели не могли оставаться в пределах литературы, они переходили эти пределы, они искали преображения жизни. И у них являлось сомнение в оправданности культуры, в оправданности их собственного творчества. Русская литература XIX века носила учительский характер, писатели хотели быть учителями жизни, призывали к улучшению жизни. Гоголь один

---

\* См.: И. Лернер. «Белинский».

из самых загадочных русских писателей \*. Он пережил мучительную религиозную драму и в конце концов сжег вторую часть «Мертвых душ» при обстоятельствах, остающихся загадочными. Его драму сомнений в своем творчестве на Западе напоминает драма Боттичелли, когда он пошел за Савонаролой, и драма янсениста Расина. Как и многие русские люди, он искал Царства Божьего на земле. Но искания эти принимают у него извращенную форму. Гоголь один из величайших и самых совершенных русских художников. Он не реалист и не сатирик, как раньше думали. Он фантаст, изображающий не реальных людей, а элементарных злых духов, прежде всего духа лжи, овладевшего Россией. У него даже было слабое чувство реальности, и он неспособен был отличить правду от вымысла. Трагедия Гоголя была в том, что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий образ, образ Божий в человеке. И это его очень мучило. У него было сильное чувство демонических и магических сил. Гоголь наиболее романтик из русских писателей, близкий к Гофману. У него совсем нет психологии, нет живых душ. О Гоголе было сказано, что он видит мир *sub specie mortis*. Он сознавался, что у него нет любви к людям. Он был христианин, переживавший свое христианство страстно и трагически. Но он исповедовал религию страха и возмездия. В его духовном типе было что-то нерусское. Поразительно, что христианский писатель Гоголь был наименее человеческим из русских писателей, наименее человеческим в самой человеческой из литератур \*\*. Нехристиане — Тургенев, Чехов — были более человечны, чем христианин Гоголь. Он был подавлен чувством греха, был почти средневековым человеком. Он ищет прежде всего спасения. Гоголь в качестве романтика сначала верил, что через искусство можно достигнуть преображения жизни. Эту веру он теряет и выражает свое разочарование по поводу «Ревизора». В нем усиливается аскетическое сознание, и он проникается аскетическим сомнением в оправданности творчества. У Гоголя было сильное чувство зла, и это чувство совсем не было исключительно связано с общественным злом, с русским политическим режимом, оно было глубже. Он склонен к публичному покаянию. Иногда у него вырывается признание, что у него нет веры. Он хочет осуществить религиозно-нравственное служение и подчинить ему свое художественное творчество. Он печатает «Выбранные места из переписки с друзьями», книгу, вызвавшую бурю негодования в левом лагере. Его признают изменником освободительного движения.

---

\* См. книгу К. Мочульского «Духовный путь Гоголя».

\*\* Розанов терпеть не мог Гоголя за его нечеловечность и резко о нем писал.

То, что Гоголь проповедовал личное нравственное совершенствование и без него не видел возможности достижения лучшей общественной жизни, может привести к неверному его пониманию. Эта идея, сама по себе верная, не могла бы вызвать негодования против него. Но в действительности, подобно многим русским, он проповедовал социальное христианство. И вот это социальное христианство было ужасно. Гоголь в своем рвении религиозно-нравственного учительства предложил свою теократическую утопию, патриархальную идиллию. Он хочет преобразовать Россию посредством добродетельных генерал-губернаторов и генерал-губернаторш. Сверху донизу сохраняется авторитарный строй, сохраняется и крепостное право. Но иерархически высшие — добродетельны, иерархически низшие — покорны и послушны. Утопия Гоголя низменная и рабья. Нет духа свободы, нет горячего призыва вверх. Все проникнуто невыносимым мещанским морализмом. Белинский не понимал религиозной проблемы Гоголя, это было вне пределов его сознания. Но он не без основания пришел в состояние страшного негодования, на которое только он был способен. Он пишет знаменитое письмо Гоголю. Он поклонялся Гоголю как писателю. И вдруг великий русский писатель отказывается от всего, что было дорого и свято Белинскому. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете!» В письме определяется отношение Белинского к христианству и Христу. «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут?.. Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». «Если бы действительно преисполнились истиною Христовою, а не диаволова учения, — совсем не то написали бы в вашей новой книге. Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознав себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним». Гоголь был раздавлен тем приемом, который встретили «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь — одна из самых трагических фигур в истории русской литературы и мысли. Л. Толстой будет тоже проповедовать личное нравственное совершенствование, но он не построит рабского учения об обществе, наоборот, он будет обличать ложь этого общества. И все же, несмотря на отталкивающий характер книги Гоголя, у него была идея, что Россия призвана нести братство людям. Самое искание Царства Божьего на земле было русским исканием. С Гоголя

начинается религиозно-нравственный характер русской литературы, ее мессианства. В этом большое значение Гоголя, помимо его значения как художника. У русских художников будет жажда перейти от творчества художественных произведений к творчеству совершенной жизни. Тема религиозно-метафизическая и религиозно-социальная мучит всех значительных русских писателей.

Один из самых глубоких русских поэтов, Тютчев, в своих стихах выражает метафизически-космическую тему, и он же предвидит мировую революцию. За внешним покровом космоса он видит шевелящийся хаос. Он поэт ночной души природы:

И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ей и нами:  
Вот отчего нам ночь страшна.

Мир этот есть

Ковер, накинутый над бездной,  
И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.

Самое замечательное стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной» кончается строками:

О, бурь заснувших не буди:  
Под ними хаос шевелится.

Этот же хаос Тютчев чувствует и за внешними покровами истории и предвидит катастрофы. Он не любит революцию и не хочет ее, но считает ее неизбежной. Русской литературе свойствен профетизм, которого нет в такой силе в других литературах. Тютчев чувствовал наступление «роковых минут» истории. В стихотворении, написанном по совсем другому поводу, есть изумительные строки:

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые:  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.

Мы сейчас такие «счастливые собеседники», но Тютчев предвидел это сто лет тому назад. Он предвидел грядущие катастрофы для России:

Ты долго ль будешь за туманом  
Скрываться, Русская звезда,  
Или оптическим обманом  
Ты облачишься навсегда?  
Ужель навстречу жадным взорам,  
К тебе стремящимся в ночи,  
Пустым и ложным метеором  
Твои рассыплются лучи?  
Все гуще мрак, все пуще горе,  
Все неминуемей беда.

У Тютчева было целое обоснованное теократическое учение, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Вл. Соловьева. У многих русских поэтов было чувство, что Россия идет к катастрофам. Еще у Лермонтова, который выражал почти славянофильскую веру в будущее России, было это чувство. У него есть страшное стихотворение:

Настанет год России черный год, —  
Когда царей корона упадет,  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен  
Низвергнутый не защитит закон;  
Когда чума от смрадных мертвых тел  
Начнет бродить среди печальных сел,  
Чтобы платом из хижин вызывать;  
И станет глад сей бедный край терзать,  
И зарево окрасит волны рек: —  
В тот день явится мощный человек,  
И ты его узнаешь и поймешь.  
Зачем в руке его булатный нож.

У того же Лермонтова была уже русская драма творчества — сомнение в его религиозной оправданности —

От страшной жажды песнопенья  
Пускай, Творец, освобожусь, —  
Тогда на тесный путь спасенья  
К Тебе я снова обращусь.

В этих словах намечается уже религиозная драма, пережитая Гоголем. Лермонтов не был ренессансным человеком, как был Пушкин

и, может быть, один лишь Пушкин, да и то не вполне. Русская литература пережила влияние романтизма, который есть явление западноевропейское. Но по-настоящему у нас не было ни романтизма, ни классицизма. У нас происходил все более и более поворот к религиозному реализму.



## **Б. В. ЯКОВЕНКО**

### **<Два слова о Виссарионе Белинском>**

#### **В. Г. Белинский и русская философия**

Здесь было бы уместно дать слово тому русскому мыслителю, который стоял у истоков научно-философского самовыражения русского ума и духа, а именно В. Г. Белинскому — основателю русской литературной критики и ее самому значительному представителю, выдающемуся русскому публицисту и мыслителю, который в значительнейшей мере и во многих отношениях предопределил русское интеллектуальное развитие и особенно философское воспитание следующих поколений русской интеллигенции. Он является главным предметом этого доклада.

В этом году исполнилось столетие со дня его кончины, и эта дата с благодарностью к нему была встречена как любимым русским человеком, сознающим свою связь с миром человеческих идей, так и всем Советским Союзом — официально с необыкновенной торжественностью и необычно подчеркнута.

Как раз Белинскому, чья творческая жизнь длилась всего лишь 13 лет и который умер в возрасте 37 лет, принадлежат следующие слова о современной ему русской философии: «Нет ничего забавнее русской философии и русских книг по части философии. О философии как науке у нас никто не заботится; но все наши философы думают, что для того, чтобы сделаться философом, стоит только захотеть этого. Учиться философии они не считают нужным; им легче объявить, что все немецкие философы врут, нежели прочесть хотя одного